

114
ВСТРЕЧА со стихами — та же, что и с людьми: первая встреча определяющая. И потом, спустя долгое время после этой встречи, уже зная человека, любя или не любя, мы все равно носим в себе «силуэт» первого, как бы застывшего, недвижимого этого впечатления. Мы видим человека через этот «силуэт». Правда, в поэзии воздействие первой встречи, растянутое во времени, требует какой-то повторности, возврата к исходной точке. Но и здесь первая встреча равнозначна открытию.

Так вот я встретился впервые, еще будучи студентом Литературного института, со стихами Павла Васильева, а вернее, с отрывком из поэмы «Соляной бунт», который нам, мечтающим стать поэтами литинститутцам, прочел руководитель семинара:

Кони! Нестоялые,
Буланые, чалые...
Для забавы жарки
Пегашки да карьки.
Проплясали целый день —
Хорошая масть игреней:
У черта поднована,
Цыганом ворована,
Бочкой не калечена,
Бабым пальцем мечена...

В степях немятый снег дымится.
Но мне в метелях не пропасть —
Одеку руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть...

Читаешь такие стихи и думаешь, что попал в какой-то странный мир, в какое-то состояние после катастрофы, когда остаются только еще не успевшие окаменеть образные густки. Образ становится органическим. А душа как бы прибывает от нарастания образной энергии.

Странно, поэты рельефного, образного мышления обыкновенно более всех переводятся. Поэты интонационного звучания, как А. Твардовский, непередаваемы. То, что народное, — трудно поддается переводу. Павла Васильева почти не переводят. Здесь, конечно, дело и в «интернациональном» умолчании, в отсутствии коммерческой товарности. Но более всего в том, что, оставаясь поэтом — образником, Павел Васильев был поэтом интонации, то есть слогаря. Языковая стихия Павла Васильева непередаваемая: разрушаются структуры. И волевая тяга стиха — не сюжетная, а стихийно-вечная — останавливается, становится мертвой.

Именно этой вечевой силой, одержимым словом, которое рождается в гуще толпы, я

В чем же дело? Почему читатель не видел и не слышал большого поэта?

А все дело в том, что наша печать упорно молчала о поэте, о значении его поэзии, о реальной, а не «настатейной» силе его великого таланта, как, впрочем, молчит и сейчас.

Но читатель за эти десятилетия сам, без помощи печати, телевидения и критики рассмотрел и полюбил поэзию Павла Васильева и любит его трезвой любовью, а не наркотической, внушаемой извне...

Так чем же интересен нам, людям рубежа 80-х годов, Павел Васильев?

Я бы прежде всего назвал сам лирический характер: яростный, неукротимый, мужественный, какого не хватает сегодняшней поэзии молодых с ее усредненными чувствами. Сильным, волевым, лирическим характером определяется притягательность поэзии Павла Васильева. Как мы порой говорим о «гамлетизме» Лермонтова, так, в таком же смысле надо сказать и о «гулливерстве» Павла Васильева, о той чрезмерности в чувствах, в интонациях, в напряженной энергии слова. Это взгляд — не мимо, не над миром, а взгляд сверху, когда вещи видятся в неожиданных, как бы укрупненных подробностях.

и проверяется постоянно самой формой. Он умел из нежной материи своего сердца лепить стихи, вот почему, несмотря на громадную энергию, они не кажутся нам грубыми, только порой покажется, что перед тобой человек с воспаленным сердцем, который торопится высказаться о себе и своем сердце:

Тогда в согласье с целым светом
Ты будешь лучше и нежней.
Вот почему я в мире этом
Без памяти люблю людей!

Он шел к большому классическому мастерству, он воспитывал в себе это чувство, понимая, что поэзию определяет

Не жидкая, скупая позолота,
Не баловства нефтяники продувной...
Строителя огромная работа.

Мир, созданный сердцем и словом Павла Васильева, волей его вдохновения, — мир как бы воскресшей перед нами Атлантиды, чей образ так и не был усмирив временем. Мир, где «все как у нас» — только крупней, распахнутой, трагичней.

Стихи настоящих поэтов, и сами они похожи на свою судьбу. А между каждым их вздохом можно услышать бесстрашное и невозмутимое сердцебиение мира...

Павел Васильев был сыном сурового и непобедимого народа, как считали сами себя сибирские казаки. Это опьянение своей силой и бесстрашием было не раз причиной многих поражений. Притупились все грани осторожности. Человек жил весь нараспашку, на виду, громко и иступленно, и это не прощается, особенно в такие мученические годы, как 1937-й!

Жизнь Павла Васильева была насильственно прервана и по произволу, и по умыслу тех, кто завидовал ему и травил его. Шли очернительные письма Фадееву, Ежову, в ЦК, письма от сальери разных калибров и разных мастей. В результате была пресечена поэтическая линия Есенин — Клюев — П. Васильев — Б. Корнилов. «Бытие» получили комнатные поэты...

О том, в какую сторону могло бы пойти, могло бы развиваться творчество Павла Васильева, насильственно оборванное в 27 лет, можно только догадываться по его последним стихам, полупрощальным и полупроороческим. Ему казалось, что он «придумывал огонь». На самом же деле вызывал огонь на себя: окружил душу своим огнем, и прошло время — вместо пламени стал выпадать пепел.

Чтобы затейные начались беседы...
Батюшки! Ночи-то в России
до чего же темны,
Прощайтесь, прощайтесь,
дорогие, со мною,
я еду
Собирать тяжелые слезы страны.
(«Прощание с друзьями»)

Проливной шум листвы сменился глухим гулом хорной. Своевольная лирическая буслаевщина (перепрыгивал через колокол) обывалась в себе, перестала дразнить и манить, сердце склонилось к степенству, дума остановилась на полном скаку у обрыва... И не удержалась — слишком яростным был разбег.

Боль у него тоже — огонь, только с отрицательным зарядом.

Ой, и долг путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени —
по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет.
Про меня ж, бедового, спойте вы...

Ресурсы огромного васильевского таланта спешили осуществиться в каком-то роковом предчувствии конца, наступала в стихах 1935—1937 гг. какая-то преждевременная зрелость. Не нам ли, людям послезастойновщины, обещано: «Будет вам помилование, люди, будет». И это сказано в самом пекле тридцать седьмого, увидено, почувствовано без ужаса, с почти мудрой, старческой смирностью.

Постойте, может, это не Павел Васильев? Откуда этот призыв помилования — «про меня, бедового, спойте вы...»? Душа над обрывом поспешила вылезть, время перешло в сроки, а сроки — в завершение. «Придуманый огонь» оказался тысячеградусным пеклом, плазмой, в которой горит и не может сгореть вещество, звездное вещество души.

Когда поэту судьбой отпущено мало времени, в его творчестве включаются мощные ускорители, чтобы путь был пройден до «конца», чтобы личная сверхзадача была выполнена. Но бывает, что этих сил ускорения все же не хватает...

Павел Васильев, несомненно, проживи он еще десять—пятнадцать лет, отклонил бы в решающей степени путь развития нашей поэзии на себя.

Поэта не только убили юношей, но и на десятилетия вынули из времени. Поэзия развивалась без него и без его стихов. Поэтому люди, способствовавшие его гибели, — преступники вдвойне: они убили поэта на взлете. Другие погибли зрелыми, сумевшими во многом состояться, выразить себя.

Может статься, была убита будущая гениальность Павла Васильева. И все говорит об этом...

История еще предъявит счет эпохе и ее исполнителям за сознательное преступление против поэта и, значит, против народа.

Время сейчас очистительное, и об этом нужно обязательно сказать, а если надо, то и назвать по именам гонителей...

Вл. ЦЫБИН

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

«ДА, Я ПРИДУМЫВАЛ ОГОНЬ»

К 80-летию
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА



Павел ВАСИЛЬЕВ.

Гравюра на дереве Николая КАЛИТЫ

Это было ошеломляюще. Так, должно быть, «знакомятся» с землетрясением. Стихи эти сами ворвались в меня, не дожидаясь, когда я вникну в них, назвучусь их неукротимым звучанием. Слова сами шли на приступ. Такой стих я еще никогда не слышал в русской поэзии: властный, волновой — в нем чувствовалась яростная, завоевательная сила. Поражало звучание, но еще большее изумление вызвали какие-то особые, великаньи образы, слова, крупные, крепкие, как старинные кершачские избы.

Я сам родился и вырос в Семирежье, слушал с детства казачьи песни, сказания, пересмешки. Что-то в стихах Павла Васильева было от этой самобытной словесной стихии — я узнал в нем то, что любил и чему не мог найти слов. И вот обрели речь степи, полынные ветры, табуны, древняя подспудная сила любви до предела...

В «Ленинке» заказал я все комплекты «Нового мира», где были напечатаны стихи Павла Васильева. Переписал в тетрадь все стихи и поэмы и даже переводы стихов. Целый месяц я переписывал и перечитывал стихи своего земляка. Даже первую свою книгу «Родительница-степь» я назвал по васильевской строке: «Родительница степь, прими мою, окрашенную сердца жаркой кровью, степную песню! Склонившись к изголовью всех трав твоих, одну тебя пою!».

Мне кажется, что мощное, неотвратимое излучение васильевской поэзии испытали многие мои сверстники — это и Николай Рубцов, и Дмитрий Блынский. Помню, как упоенно Михаил Луконин читал мне наизусть «Расставанье с милкой» Павла Васильева. Сердцу волгаря, землелюба была близка степная размашистость стихов Павла Васильева, их просторность. А вообще у Васильева больше скрытых учеников, нежели признанных...

Сердце его жило в грозе. Ее пульсация раскачивала его гортанные стихи. Он жил и писал в знойном, даже в каком-то душном лирическом климате. Читая его стихи, убеждаешься в законе реальности, что жизнь — это бытие одушевленной формы. В этом мире вещи и явления поменялись друг с другом своими качествами, все идет как бы наоборот:

только и могу объяснить магический лиризм Павла Васильева. Он не писал своих стихов как дневник, он природно выкрикивал все о себе — о любви и ненависти, восхищаясь и проклиная.

Природно клянутся. И он не столько признавался в своей любви, сколько клялся в ней:

Не добираться к тебе!
На чужом берегу
Я останусь один,
чтобы песня окрепла,
Все равно в этом гиблом,
пропащем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом,
хоть пеплом.

Клясться, но не давать клятвы — в этом есть некоторое казачье лукавство. Хотя криком кричи, хоть зыком зычь, но главное — чтобы поверили.

Вот это веселое, упорное лукавство П. Васильева современники наши просмотрели. Мы привыкли к иронии, к ее пердразниванию, но это не в исконном характере народа. Русская ирония имеет два «лица»: лукавство и крепость. Либо прихитриться, либо припечатать так, что хоть уши затыкать, как это сделано поэтом во многих стихах «Соляного бунта».

Властью своего слова Павел Васильев хотел развоплотить неподвижность мороза, застылость камня, почувствовать теплоту кровности силовых линий истории. Вот почему он написал как-то на глубоком, великаньем вздохе: «Еще хочу я превзойти себя, чтоб в камне снова просыпались души».

Он и в настоящем слышал эту историю, вернее, лирический гул истории, а если писал о прошлом, как в «Синицыне и К», то о таком, которое не перестало быть настоящим.

С каждым годом прибывают у Павла Васильева самоотверженные поклонники.

Здесь надо сказать о том, как в начале 60-х годов, уже после реабилитации, вышло первое «Избранное» Павла Васильева. Книга эта более десяти лет медленно раскупалась, пылясь на полках таких магазинов, как на Кузнецком мосту, улице Горького и на Арбате.

Меняется масштаб взаимосвязей между различными частями целого:

Лохматые тучи
Клубились над нами,
Березы кружились
И падали, и,
Сбежав с косогора,
Текли табунами,
И шли, словно волны,
Курганы в степи.

Это и есть «гулливерское» виденье мира. Ведь и драма Гулливера в несоответствии масштабов его потребностей и людей, и в том, что в нем самом, в великане, живет прежний, обыкновенный человек, но привыкший видеть всех как бы с высоты, с подблочных высот.

Васильев стремился все омонотить, утяжелить, вещественности придать еще большую вещьность, сгустить запахи и краски, заставить даль течь вспять, назначить ей предел, а тишину запеть, то есть проявлять во всем прямо противоположные свойства: «Молчи и ступай осторожно, бойся тронуть плачущую медь тишины. Сколько мертвого света и теплых дыханий живет в этом сборище листьев». Несовместимые подробности поражают своим звучным и неудержимым желанием жить, что и заставило говорить о Павле Васильеве как о поэте с удесятенным чувством жизни.

Скрытые токи души да и лирическая душа жизни сильнее всего и рельефней выражаются в стихах о любви, где в первую очередь проявляется одно из основных качеств лирического поэта — искренность как мера силы переживания. В таких стихах противопоставлен как бы выделенный из лирических ферментов души поэта наблюдатель, каковым нередко является так называемый лирический герой. Нет, в стихах Павла Васильева нет этого деления на самого поэта и лирического героя. Он сам отвечает за свое чувство. Рыцарски прямолинейно. И это роднит П. Васильева с таким, казалось бы, далеким Н. Гумилевым.

Павел Васильев пришел в нашу поэзию со своим стихом, в котором есть что-то от скульптурного начала. Это не письмо, а лепка, в которой содержание проявляется